

DOI 10.46698/VNC.2023.37.43.001



И.С. Хугаев

Опыт популярной хрестоматии осетинской малой прозы: Хаджи-Мурат Мугуев. «Книги»

Ирлан Сергеевич Хугаев

Владикавказский научный центр Российской академии наук, комплексный научно-исследовательский отдел, ведущий научный сотрудник, доктор филологических наук, shmiksel@rambler.ru

The experience of the popular anthology of Ossetian short prose: Hadji-Murat Muguev. «Books»

Irlan S. Khugaev

Comprehensive Research Department of Vladikavkaz Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (CRD VSC RAS), Leading Researcher, Dr., Russia, Vladikavkaz, shmiksel@rambler.ru

В особый разряд литературы я выделил бы, хоть это не совсем академично, произведения о книгах. Я, конечно, имею в виду не критическую литературу, а именно произведения, в которых написан образ книги как привычного нам предмета повседневного обихода и культурно-исторического феномена.

К таким произведениям можно отнести, например, романы Жана-Поля Сартра «Тошнота» (1938), Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (1940), Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953), Мишеля Бютора «Изменение» (1957), Натали Саррот «Золотые плоды» (1963), Умберто Эко «Имя розы» (1980), рассказы Альфонса Доде «Последняя книга» (1873), Леонида Андреева «Красный смех» (1904), Ивана Бунина «Книга» (1924), одноименный рассказ Горварда Лавкрафта (1933), Хаджи-Мурата Мугуева «Книги» (1945–1950), Виля Липатова «Кукла госпожи Барк» (1967), циклы очерков Николая Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах» (1957) и Олега Ласунского «Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках» (1966).

С появлением Интернета и началом масштабной дигитализации произведений всемирной литературы интерес к образу книги и концепту «книга» вовсе не снизился. Например, в известных романах-антиутопиях Татьяны Толстой «Кысь» (2001), Дмитрия Глуховского «Метро 2033» (2005) и ряде других произведений речь также идет о печатных изданиях тех или иных сочинений, а не их цифровых аналогах, – хотя, казалось бы, главное в книге – ее текст, который прекрасно читается и в «цифре».

Я предвижу, что последнее наблюдение вызовет у кого-нибудь саркастическую усмешку:



действительно, стоит ли заострять внимание на таких самоочевидных вещах? Иногда стоит. Потому что именно за самоочевидными вещами скрываются неочевидные. Я хочу сказать, что у печатного издания – у книги, сделанной из бумаги и типографской краски, – образ есть, а у оцифрованной книги образа нет. И никогда не будет. И более того: чем дальше мы будем отходить от живой книги в пользу оцифрованного текста, тем больше будет создаваться произведений о живой книге. И День книги, который традиционно отмечается 23 апреля, тоже имеет в виду книгу в ее классическом, привычном понимании...

В начале были слово и язык. Потом появилась буква, возникли письменность и литература: наступила книжная эпоха в истории человечества. Книга упразднила традицию устного предания (от нее осталась только сплетня), и она же обеспечила преданиям вечную жизнь, спасла предание от забвения. Царство книги стояло века, ширилось, богатело и процветало, – но настал день, когда неведомый враг вторгся в его пределы. Это – электронные цифровые носители информации. Слышите, каким варварским диссонансом прозвучало здесь само это словосочетание? Похоже на то, как если бы мы, закрыв книгу и выйдя из-под очарования сказки, снова ощутили грубую прозу реальности. Это не случайно: новейшие технологии подчас и ведут себя варварски по отношению к старой доброй книжной традиции.

В свое время некоторые философы жаловались даже на ликбез и просвещение (Ницше, в частности, намекал где-то, что качество литературы обратно пропорционально количеству пишущих), – что уже говорить о возможностях без ответственности, которые дает Интернет?.. Кри-

терии красоты, нормы орфографии и письменного этикета, культура языка и мышления – все, что образует настоящую литературу, подвергается риску в условиях тотальной «грамотности» и «продвинутой». Оказывается, свобода творчества и свобода слова вовсе не гарантируют торжество красоты и правды...

*Ничто не ново:
Все вранье и мат.
Свобода слова
Правде – каземат.*

Упразднит ли и цифра книгу, как книга упразднила устное предание? Формальных оснований для пессимистического прогноза, казалось бы, более чем достаточно. Такова вообще логика прогресса. Если двигатель внутреннего сгорания отправил на пенсию коня, то почему для книги – ввиду Интернета – мы должны ожидать другой судьбы?.. Увы: ни мы сами не ходим, ни наши дети больше не ходят в библиотеку.

*Книга зло для внучат.
Ныне сети и чат.
Восклицательно-стойко
переплеты молчат.
И откуда их столько?
А ведь это лишь долька!..
И слышат их боль
лишь мокрица да моль,
да червяк, доедая
без соли Ассоль,
да, пожалуй, седая
вахтер баба Тая...*

Говоря метафорически, мы имеем дело с войной Буквы и Цифры. И, как филолог, я не могу оставаться ее беспристрастным созерцателем. Мне надо как-нибудь сформулировать предмет своей гуманитарной веры.

Трудно тягаться коню с двигателем внутреннего сгорания, однако мощностю последнего измерятся в лошадиных силах. Так образ живого естества стреноживает и гармонизирует машинный прогресс.

Цифра холодна и абстрактна – буква тепла, чувственна и аутентична; любая цифра нуждается в личной подписи – но имя человека пишется уже не цифрами, а буквами (цифрами – только в концлагерях). Так алгебра поверяется гармонией.

Флэшка – кусок мертвого пластика и металла; книга – тактильна и пахнет; с книгой у человека непосредственный, чувственный контакт; она представляет собой явление органической природы, она – как и дерево, из которого сотворена – живое существо, законно подобное дереву: у книги тоже есть корешок и листья, или листы, которые тоже колыхнутся и шелестят на ветру времени, если оставить книгу раскрытой. Как дерево, книга ста-

реет, увядает, роняет листву.

Культурное переживание встречи с книгой великолепно передано в «Красном смехе» Леонида Андреева: «...возле меня, на расстоянии руки, лежала грудa этих милых, прекрасных книг в желтых, синих, коричневых обложках. Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решился начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Я чувствовал, что по лицу моему расплывается улыбка, вероятно, очень глупая улыбка, но я не мог удержать ее, любясь шрифтами, виньетками, строгой и прекрасной простотой рисунка. Как много во всем этом ума и чувства красоты! Скольким людям надо было работать, искать, как много нужно было вложить таланта и вкуса, чтобы создать хоть вот эту букву, такую простую и изящную, такую умную, такую гармоничную и красноречивую в своих переплетающихся черточках».

Библия – это, по-гречески, книга. Библия – мать всех книг. В любой хорошей книге есть что-то от Библии. Потому и сжигают их на кострах враги человечества, когда у них дотянутся руки. Да: как все, что подлинно и прекрасно, книга прекрасно горит. Ее власть безгранична, хоть и неочевидна; но, как все, что прекрасно, она нуждается в защите. Прежде чем красота спасет мир, мы должны спасти красоту...

Сегодня я не нашел ничего лучше, чем поместить здесь рассказ Хаджи-Мурата Магомедовича Мугуева (1893–1968) «Книги». Тем более что в этом году исполнилось 130 лет со дня рождения его автора. Мугуев – уроженец станицы Черной Терской области (ныне – Моздокский р-н РСО-А); участник 1-й мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн; автор таких популярных в свое время произведений, как роман «Буйный Терек», повести «К берегам Тигра», «Весенний поток», «Кукла госпожи Барк» (в одноименном рассказе В. Липатова, упомянутом выше, речь идет именно об этой книге Мугуева), «Господин из Стамбула», «Бриллианты императрицы».

В предлагаемом рассказе воспроизводится один из самых драматичных моментов Великой Отечественной войны – и утверждается царство книги как бесценного явления духовной и материальной культуры. Книга сама становится главным героем произведения – и мировой истории.

Хаджи-Мурат Мугуев **КНИГИ**

(Отрывки из рассказа)

<...> Я ехал из села Коротово в Касию. Был теплый вечер начала октября. Вдали грохотал бой, гул орудий докатывался до шоссе, на которое вывел машину Никифор, человек лет сорока, только что прибывший по мобилизации из Ставрополя. По Минскому шоссе к Москве шли люди. Это были беженцы, гнавшие скот. Тянулись под-

воды. Шли женщины, старики, дети. Попадались и красноармейцы. Иногда проходила машина или тяжело тянулись к фронту разрозненные танки. Все шли молча, устало, натруженно, только изредка кто-нибудь останавливался, оглядывался на запад, откуда долетали орудийные залпы <...>

Вечер уже совсем опустился над землей. Лес потемнел, насутился. На западе играли лучи догоравшего солнца. Глухие удары орудий докатывались до нас. Запад был объят закатом и войной <...>

Орудия уже были слышны сильнее. <...> Город, в котором еще вчера ключом была жизнь, сейчас был пуст. Распахнутые двери, раскрытые настежь ворота. Все молчало. И это мертвое молчание было так тоскливо и страшно, что напомнило мне сказку о царевне, спящей в мертвом, обезлюдевшем городе.

– Надо б циркулировать назад, товарищ командир, – тихо сказал Никифор. – Кому тут быть? Все ушли, пусто...

В эту минуту из старинного подъезда с настежь распахнутыми дверьми вышла женщина.

– Русские... Слава тебе господи, свои, – с тихой радостью произнесла она, – а мы думали, все наши уже ушли.

<...> Над Вязьмой, в сторону Москвы, шли «юнкеры». Они тяжело гудели, пулеметная дробь охранявших их «мессеров» заглушила слова старухи.

– Пошли на Москву, окаянные, – с ненавистью сказала женщина.

Мы поехали дальше. Вот и знаменитый собор. Большое красно-белое церковное здание с пристройками и подворьем, в одном из которых жили журналисты. Никифор подвел машину вплотную к стене собора. Одна из башен, окружавших собор, была наполовину сбита: кирпич, куски известня, камень валялись вокруг.

Я вбежал в темное, холодное помещение. Зажег фонарик, окликнул раз, другой – никого. Прощел по коридору, вошел в комнату – никого, а над столом висела крепко прищипленная кнопками бумага: «Все уехали в Москву, но мы все равно вернемся. Победа будет за нами». И подпись: «Валя Комова». Я положил записку в карман и поспешил обратно. Садясь в машину, взглянул на противоположную сторону улицы. Там была городская библиотека, которую так часто навещали в эти дни мы, корреспонденты. Библиотека, в которой работали тихие, милые, гостеприимные люди. И вот сейчас, оставляя Вязьму неизвестно на какой срок, может быть, и надолго, нельзя, невозможно было не зайти, не попрощаться с книгами, с этими старинными, высокими, продолговатыми, прохладными комнатами, в которых в ряд стояло много полок, книжных шкафов. Может быть, и кто-нибудь из библиотекарей, из тех радужных, хороших людей, остался там...

– Обожди, Никифор, я сейчас...

– Куда, товарищ майор? Мыслимое ли дело, кругом фашист, тикать отсель надо...

– Там люди... мы их увезем с собою... в Москву, – сказал я и добавил: – Подведи машину к библиотеке, да только смотри, Никифор, не сдрейфь, не вздумай драпануть!

– Чего придумали! – с обидой оборвал меня Никифор. – Я-то не испугался, насчет вас боюсь...

Первый этаж был пуст. Темные комнаты холодно встретили меня. Я зажег фонарик. Никого... Только сотни книг, толстых, тонких, в переплетах – черных, цветных, кожаных, матерчатых и картонных – окружали меня. Они смотрели из углов, с полок, со стен библиотеки. Портрет Гоголя висел над столом заведующей, но ее самой не было. Бюст Пушкина возвышался над полками. Все было, как обычно, и только безлюдье и тишина придавали библиотеке несколько таинственный вид. Я поднялся на второй этаж. На ступеньках лестницы маленький женский платочек. У двери лежал перевернутый стул. На столе, где производилась запись книг, лежала развернутая книга заказов. Скомканная газета сиротливо белела в углу. Часть шкафов была раскрыта, у одного из них – груды свалившихся с полок книг. Было видно, что бежали отсюда внезапно, наспех, побросав все, не успев даже запереть двери. И опять книги, книги, книги окружали меня. Тут их было значительно больше, чем внизу. Я переводил глаза с одной на другую. Все было родным, близким, дорогим сердцу, и все это было брошено врагу.

Свет фонарика прыгал по корешкам и переплетам, а мое сердце билось так же взволнованно и быстро, как и свет фонарика, скользивший по переплетам и корешкам. Вот Байрон, Пушкин, Коста Хетагуров, Тютчев, а вот и Шекспир. «Витязь в тигровой шкуре»... Думал ли я тогда, в Тбилиси, на юбилее Руставели, что мне в черную для Родины годину вот так придется попрощаться с ним! Нет... я не мог оставить его здесь, как не мог оставить и Коста. «Тютчев», – прочел я. Синий с золотым тиснением переплет. Тютчев, поэт-философ, раскрывший тайники сердца и чувства человека. И Тютчев лег рядом с Руставели и Хетагуровым, а с полки, под слабым светом карманного фонарика, на меня смотрел Пушкин, а за ним был Шиллер. Я отвел глаза... Мне было больно и страшно глядеть на книги, которые должен вскоре сожрать огонь войны. И они были сняты с полки. Радость и грусть охватили меня.

Снизу раздался прерывающийся, тревожный гудок машины. Я вспомнил все – и то, что нахожусь в оставленной войсками Вязьме, и Никифора, отчаянно сигналившего мне, и то, что у выезда из города меня дожидается Коротеев. Я опустил фонарик книзу и вздрогнул – «Война и мир», Л. Н. Толстой. Четыре тома великого писателя осветил фонарик. В этих томах

было то, что спустя сто тридцать лет снова и только с еще более ужасной и беспощадной силой обрушилось на мою Родину... Как в те далекие годы, враг подходил к Москве. Страшный, тупой, жестокий, заливший кровью всю Европу, он шел к Москве, чтобы уничтожить ее, истребить все светлое и чистое, в надежде поработить и унижить остальных. Я снял с полки «Войну и мир».

Отчаянный, долгий, непрекращающийся рев автомобильного гудка прервал мои размышления. Довольно явственно долетела до библиотеки дробь станкового пулемета. Сумрак вдруг стал редеть, и сквозь раскрытое окно по темной комнате пробежали светло-розовые колеблющиеся блики. В библиотеке посветлело; дрожа, бегали светотени, озаряя сотни и сотни книг. Я выглянул в окно. Невдалеке горел дом,

над соседними крышами клубился дым – то розово-темный, то пепельно-серый, то внезапно прорезавшийся красными языками огня.

Я сбегал вниз. У машины взад-вперед взволнованно ходил Никифор. Увидя меня, он что-то хотел сказать, но так и не сказал.

– Никого... Все ушли, – проговорил я, открывая дверцу машины.

– Книги! – с удивлением произнес Никифор. Он перевел глаза с меня на стопку книг, которую я укладывал на сиденье, и добавил: – Эт-да-а!

Я так и не понял и до сих пор не знаю, счел ли он меня в эту минуту легкомысленным или одобрил мой поступок.

<...> Когда мы остановили на Можайском шоссе машины и в последний раз посмотрели на город, над Вязьмой, с ее южной части, клубился дым и прыгали языки пламени...

РЕЗЮМЕ

Прошу заметить, что Хаджи-Мурат Мугуев составил здесь свою антологию – краткую антологию всемирной литературы, – не совсем беспристрастную (как осетин, он не мог не ввести в нее нашего Коста), но именно тем она нам особенно дорога. А его антология, в свою очередь, оказалась внутри нашей, осетинской, хрестоматии: в мире духовных явлений не только большое вмещает в себе малое, но и малое вмещает все, что огромно.

В этом маленьком рассказе поставлены большие вопросы. Это проза подлинно гуманистическая; это образец не только военной прозы, но и философской, хотя в ней нет отвлеченных суждений. Мугуев показал, как связаны война и книга, как погибают книги и как они сражаются – и за что, и на чьей стороне.

Наш сегодняшний враг так же, как и вчерашний, объявил войну не только нам, но и книге. Он не верит в слово и в букву, он поклонился числу и цифре. Пока что он поставил вне закона Пушкина, Достоевского и Толстого, но придет час, он отречется и от своих – Шекспира, Сервантеса, Гете и Драйзера. А мы не отречемся. И как тогда герой Мугуева спас Шиллера, Байрона и Руставели, так и теперь мы их спасем. И как тогда мы тем самым победили, так и теперь мы тем самым победим...

Я сказал выше, что книга прекрасно горит. И все же цифровой текст можно уничтожить нажатием кнопки, а чтобы сжечь книгу, нужно еще постараться. Что ж? – пусть попробуют!..

